

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

№ 3
1929

«РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ»

ЗА ЧЕХОВА И ПРОТИВ ЧЕХОВЩИНЫ

И. Нусинов

I

К концу 90-х гг. и затем уже перед революцией 1905 г. очень часто объединяли в одно Чехова с Толстым, с Толстым периода 80-х и 90-х гг., когда он окончательно оформился как непротивленец. Часто говорили, что как Толстой, так и Чехов выражают пассивное начало русской интеллигенции, ее непротивленчество, что как Толстой, так и Чехов звали от гражданственности, от общественной борьбы к непротивленчеству, что оба они творили философию покорности и пассивности.

Такое сближение Толстого и Чехова было глубоко неверным. Ошибка произошла главным образом потому, что поставили знак равенства между идеями Толстого и персонажами Чехова. Сопоставлялись не идеи Толстого с идеями Чехова, а идеи Толстого с персонажами Чехова.

Действительно, многие, многие персонажи Чехова говорят если не о непротивлении, то о покорности, о пассивности. Однако, пассивность чеховских фигур, а тем более идей, которыми проникнуты творения Чехова, были результатом совсем иных социальных факторов, чем те факторы, которые породили толстовство. Непротивленчество Толстого, все его так называемое учение — были результатом кризиса русского дворянства. Пассивность чеховской интеллигенции была результатом разгрома «Народной Воли», результатом того, что русская интеллигенция попала в полосу, когда казалось, что сопротивление невозможно, что сопротивляться безумно.

Вот эту капитуляцию перед врагом выражал, между прочим, Иванов (драма «Иванов»), который пробовал бороться, который пробовал зайти как-то по-иному, пойти по каким-то другим путям и который пришел к убеждению, что надо жить серой жизнью, не заводить никаких новшеств, бояться ярких красок и жить, как все. Иванов не возводит больше, как некоторые интеллигенты тургеневской формации, гамлетизм в философию. Он знает, что гамлетизм — зло. Мало того, постыдное зло:

«Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не го в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди... сам черт не разберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это позор! Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю...» («Иванов». Действие II, явл. VI).

«Лишние люди» были дворяне, у которых «все в прошлом». Поэтому они свою историческую дряхлость возводят в философию. А. П. Чехов выражал молодую буржуазно-демократическую интеллигенцию, которая в чеховские дни еще предполагала, что у нее жизнь впереди, которая стремилась созидать, но которая была сдавлена жандармским обручем Александра III.

Иванов не гордится своим гамлетизмом. Он насмехается над Манфредами из русских либеральных обывателей. Он издевается над собой и над такими, как он:

«В двадцать лет мы все уже герои, за все беремся, все можем, а к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся». (Действ. III, явл. V).

Но печальный опыт, сознание безысходности приводит его к философии примирения и покорности, к совету:

«Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишнего звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены... Да хранит вас бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей... Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое богом данное дело... Это теплее, честнее и здоровее». (Действ. I, явл. V).

А. П. Чехов заставляет Иванова произносить эту речь, призывать к серой жизни, к покорности в первом действии. Он не показывает, как и когда Иванов воевал и боролся, каким опытом он был приведен к своей раковинной мудрости.

Борьбу «в одиночку с тысячами» вели шестидесятники и семидесятники. В восьмидесятых годах, когда А. П. Чехов сложился и стал писать, эта борьба была уже позади. Борьба закончилась разгромом «Народной Воли» и торжеством всероссийского городского. Реакция 80-х годов — основа, на которой вырастает весь жизненный конфликт Иванова, и Чехов начинает драму призывом Иванова — уйти в свою раковину.

Таким образом, в то время как непротивленчество Толстого было порождено все более и более углублявшимся историческим кризисом русского дворянства, его исторической обреченностью, покорность Иванова была, наоборот, результатом временного торжества дворянской монархической власти, результатом бессилия русской буржуазии свергнуть самодержавие.

Для класса Толстого, для дворянства, впереди выхода не было. Класс Чехова, либерально-демократическая буржуазия, ждал, что его час скоро придет. Толстой поэтически возводил свою теорию непротивления в некий религиозно-философский абсолютизм. Чехов всячески стремился преодолеть исторический опыт русской интеллигенции. Чехов стремился изжить покорность и непротивленчество, разбудить волевою активность интеллигенции.

Писания Толстого с 80-х годов, во всяком случае те его писания, которые предназначались для немедленного опубликования, были направлены к торжеству толстовства. Наоборот, писательская деятельность А. П. Чехова была направлена на преодоление того, что обычно называют чеховщиной, иначе говоря, на преодоление той философии мертвого опыта, которую развивает Иванов и вслед за Ивановым все «хмурые люди». Идеи Толстого после «Исповеди» и его христианствующие образы той эпохи, его Нехлюдовы — представляют собой единство. Идеи Чехова и его Ивановы — противоположность; цель его творчества в преодолении Иванова, в победе над чеховщиной русской жизни. Толстовство — это вера Толстого после «Исповеди», чеховщина — это зло русской жизни, как это зло понимала русская либеральная интеллигенция периода 1881—1904 гг. Это — зло, на борьбу с которым была направлена вся литературная деятельность А. П. Чехова.

Путь Толстого был определен исторической осужденностью русского дворянства, обреченностью его ясно-полянскому бытию. Путь А. П. Чехова был определен немощностью русской буржуазии.

То, что один шел от дворянства, а другой от буржуазии, — особенно разительно сказалось в их радикально различном отношении к культуре. Толстой — отказ от культуры. Чехов признавал, что единственный путь к торжеству той новой жизни, к которой он стремился, — это путь утверждения

культуры. Чехов, — и в этом его отличие от чеховщины, — утверждение культуры как средства к преодолению чеховщины, как средства к преодолению того, чем были его персонажи. Что для Чехова культура? Это — раньше всего — труд, это — честность, это — порядочность. Это — жизнь, заполненная книгой, театром, искусством, многообразными впечатлениями и радостями. Это — красивый, чистый быт. Это — достойные человека земные радости жизни.

Он насмехается над «мужнцкими добродетелями» Толстого и противопоставляет толстовскому каратаевскому монастырю — жажду большой, яркой жизни, которая осуществима лишь на базе знаний и культуры.

Путь к такой жизни через преодоление «чеховщины».

Каков социальный генезис этого чеховского пути? Что такое Чехов в противопоставлении чеховщине? Это — философия русской радикальной интеллигенции, путь русской культурной буржуазии, идущей на смену старому купечеству. Это — буржуазия, которая мечтает заменить самодержавие парламентом, поставить у государственной машины на место царского бюрократического чиновника культурную, либерально-демократическую интеллигенцию. Осуществить свою мечту либеральная буржуазия надеется путем эволюционным, она надеется постепенно вклиниться «в Запад», в конституцию. Она выдвигает политический лозунг малых дел.

А. П. Чехов литературно обосновывает теорию малых дел. Когда-нибудь земля станет раем. Это будет через 200 лет. Как мы придем к этому? Не через революцию. Мы придем к этому через малые дела. Здание сложится постепенно, сад на земле вырастет из того, что будет построена больница в Мелихове, что в родном городе Чехова будет создана библиотека, что человек будет трудиться, будет культурно жить, перестанет сквернословить и харкать на пол, перестанет надругаться над женой, бить детей. Вот из этих элементарных основ культуры, через ряд поколений, будет создан земной рай. Для этого нужна порядочность, честность, знания. Для этого нужен, раньше всего, труд. За все это Чехов борется.

В чем основная разница здесь между Чеховым и чеховщиной? Чехов ее сформулировал сам однажды в беседе с Горьким. Он сказал Горькому: «Мы думаем, что при новом царе будет лучше, а через 200 лет будет прекрасно, но мы ничего не делаем для того, чтобы это прекрасное наступило».

Через 200 лет будет рай на земле. Но смысл человеческой культуры, смысл человеческой жизни, человеческого знания состоит в том, чтобы своим творчеством, своей энергией, своими волевыми устремлениями возможно сократить этот срок. Этот рай не сам по себе явится. Он сложится в результате человеческого труда, в результате человеческой культуры. От нас зависит, во-первых, быть этому раю или не быть вообще, а во-вторых, вопрос о сроке — быть ли ему через 200 лет или через 50 лет.

Чехов верит, что в человеке заложены такие силы, что он может создать красивую жизнь. Он хочет разбудить эти силы. И в этом смысле он безусловно оптимист.

В этом социальном оптимизме, в этой жажде действительного обновления жизни основное различие между Чеховым и чеховщиной, между писателем и его материалом.

II

Кто эти чеховские типы, из-за которых у нас без достаточного для того основания идентифицировали Чехова и чеховщину?

На три основные группы распадается чеховские типы.

Первая группа это — мещанин, обыватель, чиновник. Он живет серой, сытой жизнью и доволен ею. Одного только он боится: как бы его мирное

житие не было нарушено. Сам превратившийся в жирного обывателя д-р Старцев («Ионыч») так характеризует эту группу:

«Опыт научил его (Старцева.—И. Н.) мало-по-малу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, начинал сердиться и назойливо спорить».

Мещанин — многоголовая гидра. Чехов рисует ее многообразное лицо в десятках рассказов.

Эти рассказы содержат сотни портретов тупого, ленивого, жестокого, безмозглого мещанина всех формаций — от «универа Пришибеева» и чиновников из рассказа «Толстый и тонкий» до самодовольно ограниченного инженера — «пассажира 1 класса» и святоши-благотворительницы княгини, от «благодетелей» которой все бежали, как мыши от кота» («Княгиня»).

Все это мещане, которые никуда из своей жизни уйти не желают, никуда больше не стремятся, которые не способны ни задуматься, ни ужаснуться своей жизни и которые делают ужасной самую жизнь.

Чехов посвящает им сотни страниц. Но они все же не становятся его центральной темой. Мещанин для него не станет абсолютной категорией, «мелким бесом» общечеловеческой значимости, «унтиловским». Непобедимым и извечным мещанин для него не становится. Для него мещанин — большой и страшный факт, который может и должен быть преодолен. Мещанин — явление историческое и преходящее, которое может и должно быть изжито.

Одним из средств преодоления мещанства является юмор. А. П. Чехов, который почти перестает быть юмористом, когда он переходит ко второй и в особенности к третьей группе своих персонажей, — юморист по преимуществу, когда перед ним мещанин. Его он взрывает, уничтожает силой своего юмора. Мещанин, чиновник, обыватель — это гниль, которая должна и будет изжита.

Эта задача исторически выполнима. Жизнь будет тогда вечно-зеленым садом. Но выполнение этой задачи исторически обязательно: без этого жизнь садом не станет.

Кто может и должен ее выполнить? Раньше всего интеллигенция. Но как мало она приспособлена к выполнению своей роли! Как много в ней самой от мещанина! Как легко она устает от борьбы и капитулирует перед трудностями и опускается в мещанское болото!..

Интеллигенты, пробовавшие бороться и скоро надломившиеся от непосильного дела, интеллигенты, легко сдавшиеся на милость обывателю и сами зажившие жирной растительной жизнью, интеллигенты — безвольные, пассивные мечтатели о грядущем земном рае, — такая вторая основная группа чеховских типов.

Напомним некоторые фигуры, характеризующие эту группу.

Д-р Старцев («Ионыч»), чью характеристику обывателя мы выше привели, но который быстро стал одним из этих обывателей —

«...пополнел, ожирел, тяжело дышит, у него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть именные и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий... У него много хлопот, но все же не бросает земского места; жадность одолела, хочется послеть и здесь и там...».

Радость его жизни — это игра в винт и подсчет денег, добытых за день практикой.

Путь Старцева возведен в некоторую философию мещанства другим интеллигентом — Володей-маленьким.

«Он кончил курс в университете с успехом», пишет диссертацию об иностранной литературе. Но когда любящая его женщина жалуется ему на свою пустую жизнь, говорит ему:

«—Вы имете успех, как ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? отчего? я недостойна?».

Володя-маленький досадливо поморщился и сказал:

«—Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А может быть, хотите конституции? или, может, севрюжины с хреном?»

Женщина, которую он так третирует, возражает:

«—Ну хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалекая женщина... у меня тьма, тьма ошибок, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но ведь вы, Володя, старше меня на десять лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня все, что вам угодно, хотя ангела».

У него просят совета, как жить:

«—Научите же... скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите».

Он отвечает:

«—Одно слово? Извольте: тарарабумбия («Володя большой и Володя маленький»).

Если Старцев — безвольный интеллигент, который дал себя затянуть обывательской тниной, то Володя-маленький — обыватель по природе, обыватель-циник.

Конституция — мечта лучших буржуазных людей его времени. Конституция — символ нового пути для России его эпохи. Он насмехается:

«—Хотите конституции? Или севрюжины с хреном?»

Конечно, конституция нужна была буржуазии, чтоб можно было спокойно жиреть от севрюжины с хреном. Но ведь не потому Володя-маленький над ней насмехается, что ему мало конституции, он жаждет большего.

Он над ней насмехается потому, что ему, цинику, ничего не нужно. Жизнь для него игра «на бильярде и в пикет», легкие связи с женщинами. Единственный ответ на все жизненные вопросы:

— Тарарабумбия!

Бессмысленное словечко, за которым он как за вином и картами укрывается от бессмысленности своей жизни.

Д-р Старцев, Володя-маленький — интеллигенты, с самого начала и без особого сопротивления слившиеся с обывателями. Над ними стоят интеллигенты Ивановы (драма «Иванов»), люди, которые воевали, которые стремились зажить по-иному. Они быстро почувствовали, что взвалили себе на плечи непосильную ношу, надорвались от ее тяжести. Они отказываются от дальнейшей борьбы. Они покорились, но не слились с мещанской массой. Они не жиреют и не накапливают. Они близки к самоубийству, они глубоко несчастны, одиноки.

Рядом с Ивановыми, уставшими в борьбе, Чехов показывает людей, которые никогда не боролись, безвольных, уставших от одного вида пустыни русской жизни.

Эти люди отличаются от чиновника и обывателя тем, что они жен не третируют, ребят не бьют, прислугу не тыкают, своих работников не держат в сырых помещениях и не кормят их, как Чехов не раз говорил, тухлой рыбой, взятку не берут. По вечерам они читают толстые журналы, долго и много философствуют и мечтают о том, что через 300 лет будет прекрасно жить. Но они ничего не делают для того, чтоб этот срок уменьшить. Не в пример толстовцам, они от культуры не отказываются. Наобо-

рот, они боготворят культуру. Но они решительно ничего не в состоянии сделать для торжества этой самой культуры. Они задыхаются от мещанского болота. Они рвутся к иной жизни. Вздыхают: «Москва! Москва!» — но бессильны построить Москву своей жизни.

Уставшие и отрекшиеся от борьбы Ивановы, тоскующие, но никогда не боровшиеся «Сестры», — все это чеховские нытики, безвольные чеховские люди, больные интеллигентской чеховщиной.

Вот этих персонажей без всякого к тому основания смешивали с самим Чеховым.

Они — больные. Их болезнь от зла русской действительности. Но их излечение — одна из необходимых предпосылок успешной борьбы с самым злом действительности. Оздоровление интеллигенции возможно. Оно зависит от нее самой. Точно так же возможно разрушить то зло действительности, которое сделало их нытиками, капитулянтами, безвольными и пассивными мечтателями.

Борьба с интеллигентской и обывательской чеховщиной — основной стимул творчества Чехова и многих актов его жизни.

Чехов, к которому уже подкрадывалась болезнь, едет исследовать Сахалин. Зачем ему, художнику, Сахалин? Чехов не писатель подпольного человека, и ему убийца, каторжник или тюремщик, как материал для художественного показа, не нужны. Писатель-беллетрист, действительно, очень мало использовал эту поездку.

Но в поездке тот личный подвиг, та самодеятельность, утверждение своей воли, те качества, которых так нехватает безвольной, ленивой, быстро сдающей ивановской интеллигенции.

Поездка на Сахалин — факт биографический; он служил тем общим задачам, которым служило все творчество Чехова.

Чехов противопоставляет Ивановым — людей воли, культуры труда: Фон-Корена и пришедшего через большой душевный кризис к этой культуре труда Лаевского («Дуэль»).

Окружающая Чехова действительность дает мало возможностей для большого числа таких положительных фигур. И больше, чем через положительные фигуры, он борется со всей так называемой чеховщиной русской жизни самым характером показа этой чеховщины.

В этом отношении над Чеховым стоит очень призадуматься и нашим критикам, а тем более некоторым нашим современным художникам.

Критики часто ставят в упрек писателю, что в его романе или драме показаны одни лишь бюрократы, карьеристы, советские мещане, а положительных фигур нет. Надо было — говорят — отрицательные фигуры оттенить положительными.

Но дело не в том, что положительные фигуры отсутствуют. Важнее этого, как показаны отрицательные фигуры. Куда ведут эти отрицательные фигуры? На что они толкают читателя? На то, чтоб за ними последовать? На то, чтоб впасть в отчаяние? Или они стимулируют читателя на борьбу с явлениями, олицетворенными в этих отрицательных типах?

Доктору Старцеву («Ионыч»), Володе-маленькому («Володя большой и Володя маленький») никакие положительные фигуры не противопоставлены. Но в этих произведениях существует положительная фигура. Это — Антон Павлович Чехов. Это — сам писатель. Его характер показа Ионыча и Володи-маленького. Наличие этого персонажа критика подчас недостаточно учитывала в отношении Чехова, как, кстати сказать, наличие этого положительного персонажа — писателя, часто не учитывается нашей критикой и в отношении современных писателей.

Но здесь и огромное отличие А. П. Чехова от ряда современных советских писателей, — скажем, от такого писателя, как Л. Леонов. Для Л. Леонова — человечество в футляре, и этот футляр из такого крепкого

камня, что человек во-веки не выберется оттуда. Чехов знает, что человек в футляре не вечная, а временная категория. Чехов стремится силой своего смеха возможно уменьшить срок пребывания в футляре, смехом вытолкнуть его из футляра.

Огромное число страниц Чехова посвящено показу мещанства, заеденного мещанством Ионыча, загубленного бессильной борьбой Иванова, тоскующих и не имеющих к чему приложить свои молодые силы «сестер». А. П. Чехов не устает своими лучшими образами убеждать нас, что впереди прекрасная жизнь. К ней надо идти, ее торжеству надо содействовать.

Какими путями? Революцией? Социализмом? Нет! Ибо не капитализм, не эксплуатацию класса классом он считает причиной этого зла.

А. П. Чехов — писатель либерально-демократической русской буржуазии, эпохи, когда этой буржуазией понукал царский городской, когда она ходила под «унтером Пришибеевым».

Буржуазные корни его творчества лишают его возможности видеть социальные первопричины нужды, бедности одних, несправедливости, мещанской ограниченности других.

Подъяремность русской буржуазии питает его глубокий гуманизм, его исключительную человечность.

Буржуазия верила в свое близкое торжество. Все Максимы Ковалевские не переставали доказывать учеными исследованиями «истории современной демократии», что унтер Пришибеев без всякого к тому основания слишком долго зажился на белом свете. На Западе он давно сошел со сцены и уступил место охранителю порядка, поставленному самой буржуазией, он там опора буржуазной демократии.

Во всех этих ученых «историях современной демократии», в публицистических «письмах из Берлина» убитого впоследствии черносотенцами крупного деятеля кадетской партии Иолоса, в статьях об Англии, в корреспонденциях из Лондона, которые народнический публицист Дионео годами печатал в профессорски-либеральных «Русских ведомостях», неустannie доказывалось, что парламентаризм, буржуазная демократия, западная культура — это путь к будущему земному раю: трудом, культурой человечество постепенно придет к нему.

Верный этой социальной философии своего класса, его социальному оптимизму, А. П. Чехов говорил:

— Через десять лет у нас будет конституция, а через двести лет земля будет сплошным садом. Путь — реформы, труд, культура, честное и чуткое отношение к человеку.

Путь — «малые дела».

За упорное, систематическое, повседневное собирание камешков, из которых вырастет будущее здание, Чехов ратовал всем своим жизненным путем, своим творчеством. А. П. Чехов высмеивал подчас социальных, общественных крохоборов, когда речь шла о святошах от общественности, о людях, которые залезали в футляры «служения народу». Таков Власов («Соседи»), который только и делает, что умиляется либеральными статьями и посылает авторам письма: «благодарю и крепко жму честную руку». Такова Лида («Дом с мезонином»), вся жизнь которой в земских аптечках и которая высылает меньшую сестру из комнаты, когда при ней критикуют науку, «очевидно находя эти слова вредными для такой молодой девушки».

Святош от культуры, от общественности Чехов отвергал, как всяких иных чиновников, отвергал все упорнее и настойчивее и звал к живому созиданию.

III

Перед нами прошли две основные группы чеховских типов: мещанин и безвольный интеллигент.

Первый — результат векового бесправия, результат векового господства помещичьей розги, царского кнута, а после — купеческого самодурства.

Второй тип исторически сложился под влиянием тех же трех факторов. Он поднялся к более активной жизни в пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годах, — в годы, когда купец начинал превращаться в банкира, а ситцевый фабрикант — в железнодорожного магната. Новым капиталистическим отношениям тесно стало в дореформенных рамках, и они начали их крушить. «Разночинный», иначе говоря буржуазный и буржуазно-демократический интеллигент был тогда призван к жизни. Шестидесятые и семидесятые годы были годами его наибольшей активности.

Но уже давно один из сынов русской буржуазии, П. Б. Струве, в считанные светлые дни своей юности сформулировал, что чем дальше на восток, тем буржуазия подлее и трусливее.

П. Б. Струве впоследствии своей собственной жизнью и историей своей партии доказал справедливость этого тезиса. Но тогда в девятностых годах он говорил на основании свежего опыта русской буржуазии.

В четверть века, которая прошла между падением крепостничества и разгромом «Народной Воли», русская буржуазия своим предательством «народовольцев» побила такой рекорд подлости и трусости, который она сама превзошла в отношении русских трудящихся лишь в годы гражданской войны.

В течение именно этих десятилетий надломился Иванов. Эти десятилетия оформили чеховское поколение безвольных, в лучшем случае, пассивно-мечтательных интеллигентов, а то и интеллигентов, заменивших идеалы отцов — Чернышевского и Добролюбова, призывы «чернопереловцев» и «народовольцев» бессмысленной тарарабумбией.

Нам сейчас уже известно, что легальный марксизм не был каким-то правым уклоном в рабочем движении.

Нам ясно, что то была идеология буржуазии, боровшейся против народничества с его идеями особого пути России от общины к социализму, за западный путь России от крепостничества к капитализму, от самодержавия к буржуазному конституционному парламентаризму.

А. П. Чехов выражал родственные тенденции либерально-демократической буржуазии в области литературы.

А. П. Чехов отражал в своих произведениях и дал критику бытия обывателя, бытия безвольного и разгромленного реакцией 80-х годов буржуазного и буржуазно-демократического интеллигента. Обычно говорили, что А. П. Чехов безыдейный писатель, объективный наблюдатель. Но это далеко не так. Он был писателем определенной идеологической установки. Сама его так называемая объективность была продиктована этой идеологической установкой.

Мы уже однажды затрагивали этот вопрос на страницах нашего журнала (см. «Проблема объективной значимости и художественного творчества» — «Русский язык в сов. школе», 1929, № 1).

Постараемся здесь несколько доразвить эту мысль.

Одной из основных задач либеральной буржуазии в 80—90 годы было покончить с народническими иллюзиями об особых путях России. Этих особых путей не было: Россия шла к капитализму, а не к какому-то общинному коллективизму. Культивирование общинных начал мешало капиталистическому развитию России. Но, кроме того, социалистические идеи, даже в народнической форме, будили ту стихию трудовых масс, которой

русская буржуазия так смертельно всегда боялась: недаром она была восточной, подлой и трусливой буржуазией.

Народническим утопиям и иллюзиям либеральная буржуазия противопоставляла учет реального соотношения сил, статистику, экономику, опыт Запада, на худой конец даже струвнианский «экономический материализм». Заостренный против Плеханова и Ленина, этот струвнианский «марксизм» имел целью отвлечь рабочий класс от политической борьбы к «экономизму». Иначе говоря, опять-таки навязать и рабочему классу «философию» буржуазных «реальных политиков», теорию «малых дел». Но в «малых делах», в «реальной политике», в земской и всякого рода другой местной либеральной самодеятельности буржуазия была заинтересована кровно. Здесь в этой деятельности была ее маленькая буржуазная утопия. Она надеялась земство, городские думы превратить в ту «великую хартию вольностей», которая ведет через ряд этапов к сведению русского самодержца на положение английского короля, который царствует, но не управляет: не даром русские либеральные историки — Ковалевский, Виноградов и др. — так увлекались изучением истории английского парламентаризма.

Этой психо-идеологией русского либерализма было проникнуто все творчество А. П. Чехова, и он противопоставляет иллюзиям и схемам народнических, так называемых «тенденциозных» писателей художественный объективизм, реальную действительность. Русский интеллигент — не Андрей Кожухов, русский мужик — не Антон Горемыка.

Русский интеллигент, если не жадный, разжиревший Ионыч, не циник, насвистывающий тарарабумбию, то безвольный, хныкающий капитулянт или пассивный тоскующий мечтатель.

Русский мужик — вечно пьяный, жестоко бьющий жену Кирыяк, прекающая умирающего куском хлеба Фекла («Мужики»). Мужик — не коллективист, не строитель самобытного русского социализма. В нем — вековая тьма, которую надо рассеять методами западной культуры.

Русский интеллигент — не подвижник новой веры социализма, а ленивый, безвольный мечтатель. Надо ему трудиться, надо самому зажить культурней и помочь выйти на человеческий путь мужику, мещанину.

Его задача и его обязанность — превратить русского обывателя в русскую демократию. Это возможно трудом, культурой, знаниями, — иначе говоря, торжеством русской либерально-демократической буржуазии.

Эту критику «чеховщины» и программу борьбы с ней А. П. Чехов вкладывает в уста многим своим наиболее симпатичным персонажам. Она получает наиболее законченное выражение в устах студента Трофимова («Вишневый сад»):

«Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недостижимо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем громадное большинство из нас, девяносто девять из ста, живет как дикий, чуть что — сейчас зуботычины, брань, едят отвратительно, сят в грязи, в духоте, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина...

Откуда все это? Извечно ли это? Нет.

«Мы отстали, по крайней мере, лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы философствуем, жалуемся на тоску или пьем

водку. Ведь так ясно, чтоб начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом». (Дейст. II).

Отстали от Запада. Надо искупить прошлое. Надо трудиться, а не ныть и пьянствовать.

В речах Трофимова, вернее, Трофимовых, ибо такие речи говорят многие, многие чеховские персонажи, борьба Чехова с «чеховщиной» — второй его основной группы. Здесь противопоставление начала труда, культуры, активности, созидания — лени и мешанству, безволию и покорности, пассивности и мечтательности. Здесь противопоставление большой и гордой веры цинизму жалкой тарарабумбии.

Стало быть, и здесь Чехов против «чеховщины».

IV

Мещанину всех формаций, безысходности Ивановых и тоске «трех сестер», их социальному пессимизму Чехов противопоставляет свой социальный оптимизм, свою большую веру в прогресс, в торжество человека, в неизбежный приход красивой жизни.

Эта вера живет в сердцах наиболее симпатичных Чехову фигур. К ней он через большой кризис приводит возродившегося «лишнего человека» Лаевского.

«Да, никто не знает настоящей правды...» — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море.

«Лодку бросает назад, — думал он. — Делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неустойчиво веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароводные огни, а через час будут уже у пароводного трапа. Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...»

Лаевский надеется, что люди дойдут «до настоящей правды».

Трофимов глубоко в этом уверен, как уверен в том, что эта правда будет прекрасна:

«Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах». (Дейст. IV).

Он полон этой веры в минуты тяжчайших испытаний:

«Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден как нищий; и куда только не гоняли меня, где я только не был. И все же душа моя всегда, во всякую минуту и днем, и ночью полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, я уже вижу его. Вот оно счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги, и если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда! Его увидят другие!»

В своей большой вере он даже доходит до того, что на возражение Гаева: «Все равно умрешь!» — он отвечает:

«Что значит умереть? Быть может, у человека сто чувств, и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живыми».

Критика Трофимова русской интеллигенции, его вера в себя и в будущее, его гордые призывы строить это будущее — завещание А. П. Чехова русской интеллигенции, к которой он своим творчеством адресовался в первую очередь. Через Трофимова говорит социальный оптимизм Чехова, направленный против социального пессимизма Ивановых.

Но помимо охарактеризованных двух групп — мещан и общественно-отчаявшихся интеллигентов — Чехов создает третью группу. Это люди эккле-

эпистемического отчаяния. Здесь материал до чрезвычайности родственен писателю.

В показе первых двух групп характернейшей чертой А. П. Чехова является его социальный оптимизм. Он верит в то, что будущее будет прекрасно, и знает путь от скорбного настоящего к этому прекрасному будущему.

В показе третьей группы Чехов обнажает свою зараженность философским пессимизмом.

Он его выводит раньше всего из своего материализма. Бессмертия нет.

«Какая бы великолепная заря не освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму» («Палата № 6»).

Этот последний довод д-ра Рагина нервно-больному Ивану Дмитричу много раз варьирует сам Чехов и ряд его персонажей.

Молодой юрист за пятнадцать лет своего добровольного заточения овладел всеми доступными человеку знаниями.

«Ваши книги, — пишет он, — дали мне мудрость. Все то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моем черепе в небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас».

С высот своих знаний, своего ума и мудрости он подводит последние итоги миру и заявляет:

«И я презираю ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Все ничтожно, брэнно, призрачно и обманчиво как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мышами, и потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром» (Пари).

Жизнь бесцельна. Мироздание бессмысленно. Полный глубокого презрения к миру, к человечеству, юрист отказывается от всех радостей жизни, путь к которым для него некогда был в богатстве.

Отчаяние юриста содержит для Чехова известную общую значимость. Все споры между д-ром Рагиным и нервными больными кончат смерть:

«Все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на спине с открытыми глазами, и луна ночью освещала его» («Палата № 6»).

Жестокое равнодушие природы к нашей судьбе и в смерти Гусева:

«Его зашивают в парусину и, чтоб он стал тяжелее, кладут вместе с ним два железных колосника. Защи́тый в парусину, он становится похожим на морковь или редьку — у головы широко, к ногам узко... Перед заходом солнца выносят его на палубу и кладут на доску; один конец доски лежит на борту, другой на ящике, поставленном на табурете. Вокруг стоят бессрочно-отпускные и команда без шапок.

Странно, что человек защит в парусину и что он полетит сейчас в волны. Неужели это может случиться со всяким?

Вахтенный приподнимает конец доски. Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом переворачивается в воздухе и — бултых! Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение — и он исчезает в волнах.

Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен гусемь-десять, он начинает идти тихо и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уж несется в сторону быстрее, чем вниз.

Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лощманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через пять минут они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду.

После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лощмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравшись телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, парусина разрывается на всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лощманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.

А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, сгущаются облака: одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; много погоды рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с этим золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно» («Гусев»).

Перечень всех подробностей похорон Гусева, любование игрой рыбок, выписывание тонов заходящего солнца, очаровательного неба и упоение цветами океана, — во всем этом не холодное равнодушие Чехова, как это утверждали некоторые его критики, а страстное, последнее отчаяние от контраста красоты мира и ничтожности человеческой жизни, от ужаса, что «это может случиться со всяким».

Источник этого отчаяния раскрывает старый профессор («Скучная история»).

То, к чему юрист пришел в своей темнице на основании книг, для старого профессора является итогом его жизни.

Он талантлив, он знаменит, он в молодости любил и был любим. Ему дано было все, о чем люди мечтают как о счастье... «Одним словом, — говорит он, — если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала».

Но как жалок финал!

Почему? Профессор сейчас видит иллюзорность и суетность всего счастья его жизни.

Он некогда страстно любил. Но сейчас при виде жены недоумевает:

«Неужели эта старая, очень полная неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешезвине — неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варей, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке».

Такой же мечтой и иллюзией были дети. Но когда сейчас «входит дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю точно в висок жалит меня пчела»: дочь — тупая, ограниченная, лживая и манерная.

Была ученая деятельность, университет. Но и в них, как это говорить единственный близкий ему человек, его воспитанница Катя, — тоже все равно никакого толку:

«... все равно никакого толку. Читаете вы уже 30 лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Считите-ка! А чтоб размножат этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний».

Известность... Но «очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит». Его имя «месяца через три, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блеснуть как самое солнце, и это в то время, когда я буду уже покрыт мхом».

Эти мысли отравляют ему его последние дни:

«Среди лекции я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни! Мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянными криками бросились к выходу».

Финал испорчен, — резюмирует старый ученый:

«Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком».

Во всех суждениях нет того, что называется общей идеей или богом живого человека.

«А коли нет, то, значит, нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья».

Он заметил «отсутствие общей идеи на закате своих дней», Катя ощущала ее отсутствие всю жизнь и потому ее «душа не знала и не будет знать приюта всю жизнь».

Пессимизм юриста, старого профессора, д-ра Рагина, ужас смерти Гусева, — это скорбь самого Чехова из-за того, что он сам лишен общей идеи «бога живого человека».

Чехов в известном смысле находится в плену у переживаний юриста, старого профессора, в плену их идей.

Его самого пугает ужас человеческой судьбы. Она ему кажется великим бессмыслием, раз человеческая жизнь — несколько точек сознания и бесконечном ряду бытия вне сознания.

Здесь тот пункт, где было уместно говорить о чеховщине.

V

Нельзя, однако, и здесь идентифицировать Чехова с его персонажами.

Во-первых, потому что философский пессимизм его все же не ведет к признанию жизни изначальным хаосом. Во-вторых, потому что он стремится преодолеть самый философский пессимизм социальной активностью.

К признанию жизни изначальным хаосом приходили многие русские писатели, в том числе Достоевский, Сологуб, в некотором отношении М. Горький. Его они видели не в том, что есть смерть, что солище наверное погаснет, а в том, что человек — Смердяков, мелкий бес, что человек — существо подпольное по самой своей природе. Или, как говорит один из героев Л. Леонова: «первый зверь душа, а душа останется та же, что и в начале дней». Не в том дело, что миг сознания чередуется с вечностью бессмыслия и что миг сознания лишен общей идеи. Ужас в том, что это сознание — смердяковское и таким пребудет.

Чехов это неверие в человека совершенно отвергает. Он видит отсталого человека, ленивого, легко примиряющегося со злом, но он редко видит жестокого человека и никогда Смердякова. Он знает, он всегда полон веры и уверенности, что все отрицательное в человеке не от природы, а от исторической отсталости. Оно может и будет изжито. Человек будет прекрасен, человеческая жизнь — сад.

Мало этого. Он в своем социальном оптимизме ищет опору для преодоления философского пессимизма. Здесь то основное, недооцененное в Чехове, что глубоко отличает Чехова от так называемой чеховщины и высоко поднимает Чехова не только над чеховщиной его персонажей, но и над чеховщиной русской и западной интеллигенции, если позволено будет этим словом характеризовать пессимизм и индивидуализм западной буржуазной и мелко-буржуазной интеллигенции. Ведь весь обратный путь «от марксизма к идеализму», третирование писателей и поэтов, занятых гражданскими мотивами, обоснован, по существу, аргументацией из арсенала чеховских пессимистов, из арсенала отшельника («Пари»), д-ра Рагина («Палата № 6»), старого профессора («Скучная история»).

Стоит ли бороться за то, чтобы царское самодержавие было заменено конституцией, каким-то парламентом? Ведь все это столь мелко и незначительно, ведь смерть этим не победишь.

Стоит ли воевать за какое-то «монистическое мирозерцание», когда материализм по существу не знает ответа на вопрос о смысле мироздания и лишен «общей идеи, бога живого человека».

Всем памятно, как после разгрома революции 1905 г. буржуазная интеллигенция стала каяться в своих прошлых путях, признала ошибкой русской литературы, что она интересовалась гражданскими мотивами, социальными проблемами, признала лишними споры о верности марксизма или, народничества. Буржуазная интеллигенция устанавливала тогда свои «Вехи», как был назван достаточно шумевший покаянный сборник группы идеалистов. Там был призыв от политической активности в религиозно-философские общества, от горьковских сборников «Знания» к модернистскому «Шиповнику», который ставит проблемы смерти, который рвет со всеми «жалкими иллюзиями» материалистической мысли.

«Вехисты» склонны были зачислять А. П. Чехова в свои великие предшественники. Между тем, А. П. Чехов был глубоко чужд их мистических, богоискательских и, по существу, понте-пилатских в отношении русской революции «общих идей».

Разоблачением понте-пилатского характера пессимистической философии была его «Палата № 6». Там, как известно, А. П. Чехов свел пессимиста и оптимиста.

Д-р Рагин — здоровый, он на свободе, но он пессимист. Иван Дмитрич — больной, он заточен в доме для умалишенных, но он оптимист.

Иван Дмитрич уверен, что «воссияет заря новой жизни, восторжествует правда».

Д-р Рагин, однако, не находит «особенной причины радоваться», так как «законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь».

Лишь два блага он поэтому признает: «свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глубокой суете мира».

Но больной изобличает природу его философии: «Вся эта философия самая подходящая для русского лежебоки». Вместо того, чтобы воевать со злом, чтобы задумываться над его уничтожением, готовый ответ: «Стремись к уразумению или к истинному благу».

«И делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь...»

И Чехов заставляет д-ра Рагина на собственном опыте убедиться в справедливости слов больного. Его поместили в ту же «Палату № 6», одели в больничный халат. В первую минуту он пробует утешать себя своей философией стоицизма: «Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат».

Но скоро он вынужден признать, что «пал духом». Сторож Никита бьет его, как все годы был при его попустительстве всех прежних обитателей «Палаты № 6», и Чехов рассказывает:

«...в голове его, среди хаоса, ясно промелькнула мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день, эти люди, казавшиеся теперь при луином свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше, чем двадцати лет, он не знал и не хотел знать этого? Совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскопчил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя...»

Сумасшедший оптимист победил здорового философа-пессимиста. Доктор на второй день умирает, умирает от тоски, что он неверно прожил свою жизнь.

Здесь дано столкновение между проблемой социального оптимизма и проблемой философского пессимизма. Носитель этого философского пессимизма погибает, потому что он в течение всей своей жизни ничего не сделал для торжества философского оптимизма.

Чехов знает, что в том цветущем саду, о котором он мечтает и который придет, что и там основные проблемы, которые ставит старый профессор («Скучная история»), доктор Рагин, Черный монах и ряд других его персонажей, что и тогда эти проблемы, может быть, не будут разрешены. Но тогда они будут впервые с гордым достоинством поставлены. Доктор Рагин погибает потому, что единственный человек, с которым можно поговорить в городе, — и тот сумасшедший. Рагин знает, что одна из самых значительных радостей человека, это — его мысль, это — то, что он может думать о своей смерти и своем бессмертии, это его стремление познать гордое примирение с неизбежностью своей гибели. Но для утверждения этой гордой мысли необходимо, чтобы Никита не бил в зубы, чтобы д-р Хоботов мог подняться до проблем, о которых он с сумасшедшим спорит, чтобы не стало д-ра Устимовича («Дуэль»), который не в состоянии даже почувствовать значительность вопроса, который лежит в основе конфликта фой-Корена и Лаевского. Нужна та культура, нужно то строительство, нужен тот труд и та человеческая честность и волевая устремленность, которые бы сделали, чтобы можно было глубоко задуматься над этими проблемами. Чехов никогда не отстраивается от этих вопросов, он ставит их. Но ставит глубоко и разрешает их в пользу гражданской активности, в пользу социальной действенности. В этом противопоставление Чехова чеховщине.

Чеховым поставлена была одна из центральных проблем человеческого сознания.

И до Чехова, и после Чехова и у нас, и на Западе интеллигенция поднимала вопросы, которые вслед за юристом («Пари»), за старым профессором («Скучная история») ставит д-р Рагин.

Торжество социальной справедливости было бы разрешением наименее значительных проблем, которые мучат человечество. Основные проблемы смерти, одиночества, вопрос о смысле мироздания не разрешимы. Впереди нас всех ждет могила и мрак.

На это Чехов им устами сумасшедшего возражает: это — философия людей, которые «никогда не страдали, и только, как пиявицы, кормились около чужих страданий». Это понте-пилатское самооправдание.

До тех пор, пока существует «Палата № 6», существуют подобные рассуждения, лицемерие, ложь, фарисейство, — право на эту философию можно приобрести только уничтожением социального зла.

Здесь А. П. Чехов одержал одну из своих лучших побед над чеховщиной.

Капитуляцией д-ра Рагина перед действительностью, когда та его ущемила, его признанием правды больного Ивана Дмитрича Чехов разоблачил толстокожесть всех российских диогенов, самодовольство толстовствующих святош и интеллектуальную ограниченность религиозно-философствующих:

«— Нег, сударь, — заявил он, — это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь...»

VI

Пессимизм русской буржуазно-демократической интеллигенции 80 — 90 годов шел из двух источников: от царской реакции, от слабости и безкультурья русской буржуазии.

Царско-жандармское «расходись», купечески-пьяное «моему идраву не препятствуй» — вот та атмосфера, которая убила у чеховской интеллигенции возможность «общих идей», породила ее глубокий пессимизм и заразила самого А. П. Чехова глубоким интересом к образам и проблемам, которые он ставит в «Пари», «Скучной истории», «Черном монахе», «Палате № 6» и целом ряде других произведений.

Чехов отдал огромную дань пессимизму. Но он его преодолел и чем ближе к 1904 г., тем больше его изживал, тем больше веры и больше активности было в его творчестве, несмотря на то, что перед ним лично все больше раскрывалась безднa: он погибал.

Девяностые годы он начал «Палатой № 6», где он, как мы видим, осудил пессимистическое философствование.

В девяностых годах он окончательно изжил те нотки толстовства, которые у него раньше проявлялись. Последние годы он работал над «Вишневым садом», который закончил приветствием Трофимова новой жизни, его глубокой верой в торжество этой новой жизни.

Совершенно другой вопрос: где же, по мнению Чехова, те пути, по которым можно идти к действительному осуществлению рая на земле, к новой жизни? Их Чехов не видел. Чехов полагал, что для его эпохи наиболее верным средством для их осуществления является культурничество. Он сводил вопрос к либеральной гражданской честности. Академия наук несправедливо поступает с Горьким — он уходит из Академии. Когда ему становится ясным общественный вред «Нового времени», он уходит отсюда. Но более действительных путей он не видит. Чехов, по существу говоря, стоял на позиции тех, чьим лозунгом были «малые дела». Здесь Чехов выражал те же тенденции, что и экономисты: через десять лет — конституция, через двести — земной рай.

Эти тенденции были в резком противоречии с революционными идеями 90-х годов. Тогда Чехов объективно стоял против тех, которые говорили: для того, чтобы покончить с тем социальным бытием, которое порождает чеховщину, необходима революция, мирным путем и малыми делами этого не сделаешь. Именно поэтому Н. К. Михайловский так жестоко нападал на Чехова. Тогда Чехов объективно был с либералами против революционеров.

Иное, однако, объективное значение имеет А. П. Чехов сейчас.

Революция победила. Сейчас законна такая же переоценка многих чеховских идей, какую мы произвели по отношению к кооперации. В свое время мелко-буржуазные реформисты, как известно, полагали, что при помощи кооперации, кооперативного движения мы придем к уничтожению капитализма. Марксисты всячески выступали против этой иллюзии, полагая, что для этого надо раньше всего завоевать политическую власть. Но завоевав политическую власть, рабочий класс для построения социализма пользуется кооперацией. Точно также чеховская теория голого культурничества была беспомощной либеральной теорией наиболее культурной части русской радикальной буржуазии. Иное дело у нас. Сейчас в этих мыслях есть много чрезвычайно ценного, что должно и может быть нами использовано. Призывы Чехова к культуре, к труду, его борьба за творческий труд, за внимание к своему товарищу, за уважение к личности, — это все элементы нашей культурной революции. Для его эпохи это было только теорией либеральных малых дел. Между тем, сумма этих чеховских положений является чрезвычайно плодотворной для нашего времени в двух планах: во-первых, спор о доминирующем значении философского пессимизма над социальным оптимизмом для многих и многих наших интеллигентов и сейчас еще не окончен. Людям, которые отмахиваются пренебрежительно от больших вопросов строительства, которые желают эти во-

просы подменить так называемыми «философскими проблемами», чрезвычайно полезно напомнить споры доктора с сумасшедшим. Им надо еще и еще раз объяснить, что право на самую постановку этих проблем обретаётся лишь уничтожением той мировой «Палаты № 6», которую представляет собой капитализм. Для них должно стать ясным, что отгораживаться «философским пессимизмом» от социального зла — это значит не чувствовать тех угрызений совести, которые д-р Рагин почувствовал в свою последнюю минуту.

Тем, кто далек и от такого «философствования», остается учиться у Чехова второму, — тому, что для его времени было культурничеством и что для нашего времени может и должно стать культурной революцией. Чеховские идеи были культурничеством до тех пор, пока революция не победила. Они могут стать одним из элементов культурной революции, когда политическая власть находится в руках рабочего класса: тут они обретут полное свое содержание.

Огромное количество наших читателей сейчас заново перечитывает Чехова, — тиражи чеховских изданий об этом свидетельствуют. Это может оказаться фактором положительным в той мере, в какой читатель примет Чехова, но и фактором отрицательным, если читатель от Чехова уйдет к чеховщине. Надо опасаться того, что читатель будет прислушиваться не к тому, что говорит сумасшедший и не к тем последним рассуждениям, к которым приходит доктор, а будет прислушиваться, главным образом, к нотам философского пессимизма, которые звучат со многих страниц. Надо опасаться повторного торжества чеховщины второго типа, когда иные перед лицом всех тех трудностей, которые перед нами стоят, перед лицом всех тех проблем, которые остались у нас еще не разрешенными, будут повторять за Ивановым: живите серой жизнью, не надо ярких красок, не надо стремиться перестроить мир, не ссорьтесь с кулаком, ступайте в «Лигу наций». Как бы другие, мнящие себя более глубокими и всегда и все время стоявшие более далеко от той борьбы, которую мы непосредственно ведем, — как бы они не взяли от Чехова того философского пессимизма, который присущ многим и многим его персонажам, не замечая чеховского социального оптимизма, которым он до конца компрометирует проблему философского пессимизма. Надо опасаться, как бы сейчас с другого конца не была повторена та же ошибка относительно Чехова, которая была сделана в конце 90-х годов и в начале этого века, когда говорили, что Чехов и Толстой — одно и то же. Толстовство было принципиальным отказом от культуры, принципиальным призывом к непротивленчеству. Для Чехова это были переживания его персонажей, которые он стремился преодолеть. Идентифицирование Чехова с чеховщиной и сейчас было бы заменой писателя, искусства — тем материалом, из которого искусство создается. Кто пожелает учиться у Чехова, тот отвергнет чеховщину и возьмет у Чехова то значительное, что может сейчас явиться вкладом в нашу борьбу за культурную революцию.
